

В марте 1980 года в римский дом супругов Феллини, что на улице Маргутта, пришел их близкий друг, поэт, режиссер и писатель Брунелло Ронди. Друг не просто по душевной близости — он работал с Феллини тридцать лет, принимая участие в написании сценариев к его фильмам. В тот вечер в доме Феллини говорили о России. Судя по всему, разговор был интересным и серьезным, — Ронди записал на пленку то, что поведала ему Мазина. Не из праздного любопытства —

GIULIETTA MASINA

La mia Russia

писатель готовил книгу «Образы Москвы», в которую и должны были органично войти два «чужих куска»: рассказ Джульетты Мазина о встречах в Москве и музыканта Франко Манино о контактах с русскими коллегами. Рукопись уже была готова к печати, но смерть, увы, не дала возможности Брунелло Ронди довести свой замысел до логического завершения. Его сын Умберто Ронди нашел рукопись. После чего в газете «Унита» появилась публикация — текст, который наговорила Джульетта Мазина. Хотя газета приводит его с некоторыми сокращениями, но и Ронди, и «Унита», судя по всему, сохранили в неприкосновенности повествование удивительной, такой не похожей ни на кого актрисы, сохранили даже маленькие забавные неточности ее рассказа — вроде гипсовых матрешек и «мужа дочери Сталина, главного редактора «Правды». Мы тоже решили их сохранить.

Я была в России три раза, и эти три поездки теперь слились в моей памяти в одно неразрывное и дорогое для меня воспоминание. Дорогое, потому что удалось — насколько это было возможным для меня, гости, — проникнуть в лучезарный дружеский мир, отражавшийся в глазах окружающих меня людей. В России я встретила с проявлениями сердечной привязанности, душевной признательности, обширнейшей гаммы нежных чувств, которые являются проявлением культуры, они жили в словах, жестах, и я сразу поняла, что все это — самое настоящее. Во время путешествий в эту страну мне казалось, что я перемещаюсь не в пространстве — ведь три часа полета вовсе не являются чем-то необыкновенным, нет — у меня было ощущение, будто я перемещаюсь во време-

ни, будто я нашла — и не потому, что упорно искала, а потому, что всегда верила в существование связей человека с его исконными корнями, — нашла доказательства глубокой моральной стойкости, душевного спокойствия. Еще будучи там, я уже так думала, и мне пришла в голову мысль, что у нас все это существует в печальном качестве реликтовых экспонатов. «У будущего древнее сердце» — написал много лет назад Карло Леви в своем прекрасном репортаже о России.

Однако попытаюсь рассказать обо всем по порядку. В те далекие времена, когда я впервые приехала в Россию (в тот год на экраны страны вышел фильм «Ночи Кабирии» Феллини, где я играла главную роль), у меня было особое психологическое состояние, свя-

занное с некоторой настороженностью, и объяснялось оно разными мотивами. Прежде всего потому, что предыдущий фильм Феллини «Дорога», в котором я тоже сыграла главную роль, в Советском Союзе на экраны не пустили, и не по эстетическим соображениям — с таким приговором в любом случае можно было бы посчитаться, как с законным, — но потому, что его просто-напросто сочли «католическим фильмом» — не знаю уж, на основании каких критериев...

Русские проявляют себя — и частенько это наглядно доказывают, — как существа особые, достойные искреннего расположения, и первое доказательство этого я получила от встречи с одним русским, который как-то вечером пришел в наш дом во Фреджене, недалеко

от Рима, на берегу моря. Русский гость был, как говорится, «не из последних» — это был поэт Евгений Евтушенко. Теперь уж не могу точно сказать, когда это случилось, помню только, что было какое-то переходное время между летом и зимой — то ли март, то ли октябрь. Я приготовила обед, который должен был являть собой некую антологию итальянских блюд, выполняя роль дружеского жеста по отношению к русскому гостю, — как мне было сказано, он обладает присущим всем русским врожденным талантом общения. Когда я отправляюсь на кухню и вытаскиваю на свет божий рецепты блюд, которые в определенном смысле передавались от матери к дочери, то, на мой взгляд, в результате мне удается как бы создать нечто вроде дружеского послания, выстроенного из разнообразных кушаний, и предназначенного исключительно для друзей, которые в состоянии самым серьезным образом его оценить. Приготовить все собственными руками — например, завтрак или обед, — для тех, кто вызывает симпатию, — необходимое предварительное условие для доказательства собственного дружеского расположения: ничего в таких случаях не приносится извне, никаких «серийных» кушаний, никаких магазинных яств не должно быть на столе, и потому, пробуя то, что ты предлагаешь — неважно, сделаешь ли ты рагу или испечешь торт, — твой гость непре-

менно почувствует и поймет, о чем ты думала, складывая ингредиенты в одно целое, и расценит это целое как некое обращение к нему лично.

Что до Евтушенко, то я чувствовала, что готовлю мои итальянские блюда не только для него, но для всех тех новых и неведомых людей, которые могли бы быть вместе с ним и которые как бы стояли у него за спиной. Что же касается приготовленных мною «тортеллини» (традиционное итальянское блюдо: похожи на пельмени со специфической начинкой. — Прим. перев.), то еще один русский, который пришел вместе с Евтушенко, преподнес мне сюрприз: он долго смотрел на них, а потом сказал, что это национальное блюдо казаков. Во мне сразу же возмущились все мои унаследованные от предков познания в болонской кухне, и я ответила, что заслуга изобретения и гастрономический патент принадлежат прежде всего и исключительно великим болонским поварам, жившим в прошлом.

Однако наш гость хотя и доставлял мне, как хозяйке, большое удовольствие, поедая тортеллини в огромном количестве, продолжал повторять, что все равно это казацкие пельмени и ему очень приятно встретить их так далеко от родины, что это их национальная гордость и приготовление пельменей — вековая традиция.

Спор так и повис в воздухе, потому что некому было нас

рассудить. Я подумала, что препираться не следует, ведь он — наш гость. Тем более что дискуссия быстро сменила направление, потому что Евтушенко с истовостью и энергией человека, решившего по-настоящему отпраздновать мессу, принялся за вино. Когда Евтушенко начинает пить вино, его прекрасные голубые глаза — глаза сибиряка, который провел всю молодость, блуждая по тайге под открытым небом (уже потом мне рассказывали, что в молодости он кем только не работал — танцовщиком, геологом, охотился на медведей, но прежде всего был настоящим идолом для русских девушек), — так вот, его голубые глаза излучают на присутствующих сияние самого душевного, самого настоящего братства. Позднее я прочитала стихи, которые в Италии считаются лучшими его строками — стихи о вине.

На Апеннингах вышел сборник стихов Евтушенко, предисловие к которому написал Пазолини. В этом предисловии он и говорит, что тоже считает эти стихи лучшими у русского поэта, и говорит также, что для него, то есть для Евтушенко, водка была как бы разменной монетой, душевным посредником для установления дружеских отношений. Но это абсолютно не так; по утверждению самого Евгения, он никогда не пил водку и никогда не будет ее пить. Вино — да, и в тех двадцати де-

Культура. — 1995. — Апрель. — С. 10.

Джульетта Мазина:

МОЯ



вяти странах, которые он к тому времени посетил, он всегда пил — бутылками — только местное вино, думаю, что он таким образом хотел как бы осуществить нечто вроде переливания крови, впитывая лучшие соки земли, гостем которой в тот момент являлся.

Случилось так, может быть, на это повлияли приятные воспоминания о том вечере во Фреджоне, о наших беседах, но только «в один прекрасный день», как говорится в сказке... я очутилась на борту самолета. «В Москву, в Москву», — повторяли три сестры Чехова. И я с ними.

Первое, что поразило меня при встрече с русскими, — это почти невероятное и потому для меня странное, у нас такого не встретишь, у русских же это, очевидно, имеет глубокие корни, — выражение глубочайшего уважения, которое они испытывают к тебе лично; и часто это уважение, как было в моем случае, соединяется с выражением сердечной любви, а все это сливается в неизъяснимую грацию чувств, присущую людям, которые никогда не вызывают в твоих ощущениях трещины неестественностью поведения, — это относится и к тому, как они воспринимают тебя, и как они дарят тебе свои чувства.

Я была гостьей старинной и монументальной гостиницы, из окон которой видна Красная площадь и которая расположена почти рядом с ГУМом.

Моя комната, где стоял огромный письменный стол, по размерам не уступающий центральной площади небольшого итальянского городка, выходила на балкон, — он шел по фасаду гостиницы и, казалось, приглашал меня пройтись по нему, чтобы сразу же увидеть панораму Москвы. Флаги всех стран, которые участвовали в кинофестивале, проходившем в те дни в Москве, колыхались под дуновением ветра, — они все уместились на этом балконе, они скручивались и снова распускались с торжественным шелестом — это было настоящее пиршество цветов и эмблем.

Вечером того же самого дня, когда приехала в Москву, я вышла на улицу, потому что там стояли люди, они ждали именно меня, и сразу же очутилась в окружении большого числа русских, и на всех лицах я читала выражение уважения, но и смущения, и теплой сердечности тоже, и еще желания оберечь, защитить; они старались что-то подарить мне, протягивали руки и в то же время как будто стыдились этого.

Мне протягивали цветы, кто-то протянул, наверное, очень дорогой тогда и редкий цветок в тот сезон — роскошную гвоздику, ее передали из рук в руки и вручили мне, как будто я была святой или ожившей иконой. Было еще нечто, что растрогало и развеселило меня особенно — среди живых цветов кто-то протянул мне цветы нарисованные, чья-

то изящная рука грациозным жестом подала мне небольшой листок, и этот жест удвоил эстетическую ценность того букета, удвоил ощущение поистине весенней дружбы, установившейся тогда между мной и таким большим числом людей в этой стране. Я получила также множество цветных открыток с изображением Красной площади и других знаменитых памятников Москвы, открыток наивных и даже простоватых, но мне преподносили их с такой искренностью, будто все эти люди хотели подарить мне по маленьким кусочкам свой родной город, такой благодущный, такой близкий по характеру к русской деревне.

А потом были матрешки, эти раскрашенные гипсовые игрушки, которые, по-моему, являются выражением народного взгляда на русскую мать-кормилицу, ту самую, которая поит детей молоком, награждая их отменным здоровьем и счастьем; эти маленькие предметы, создаваемые русскими ремесленниками, — настоящее поэтическое чудо. А все вместе — это сердечные дары дорогих мне русских друзей, оставшихся в моей памяти представителями того мира, который все должны бы любить, а не бояться.

После первого путешествия — и в ходе последующих — в душах и сердцах этих людей, которые встречались мне на московских улицах (когда я ходила по ним, меня не покидало чувство, будто брожу по гостеприимному дому старых добрых друзей, на этих улицах я совсем не испытывала страха, что не покидает нас, итальянцев, когда мы ходим по ули-

цам Рима), так вот, в сердцах этих людей осталась милая привычка вспоминать меня. Я все время что-то получаю из России: почтовые открытки с поздравлениями, марки, вложенные в конверты засушенные цветы, которые я пристраиваю на полочке, и они стоят там месяцами, источая едва уловимый аромат, как бы говоря: «не забывай» — крошечные розочки, грустные фиалки — флора, вызывающая сто-

лько воспоминаний и потому бесценная.

Помню, как-то утром на одной из московских улиц я увидела стайку женщин, стоящих на коленях перед церковью, — церковь была наглухо закрыта по распоряжению представителей режима и государства. За всю мою жизнь я не могла вспомнить ни одного примера такого проявления религиозного чувства у молящейся толпы, не помню никого, кто

был бы убедительнее, чем эта страстно молящаяся группа женщин (надо сказать, их никто не гнал, даже не просил уйти) перед давно и крепко накрепко закрытым входом в маленькую церквушку, в которой, насколько мне было известно, не было никаких особых реликвий или чудотворных икон. Да, это была «групповая» молитва, но каждая из женщин молилась сама по себе, целиком и полностью в это состояние погруженная. Думаю, что я имею право сказать — и не только потому, что видела тогда в Москве этих молящихся женщин, — что русские сегодня — самые верующие христиане из всех тех, кто живет на земле, неважно — демонстрируют ли они всем свою веру, или прячут ее в глубинных тайниках сердца. Итальянцы, римляне в частности (пусть они на меня не обижаются) являются — и называют себя — христианами, католиками, однако нет ничего более языческого, чем их воскресные церковные ритуалы, их признания перед окошечком исповедален, в которые они мало верят, но перед которыми тем не менее усердно выпирают обильно льющейся от исповедального усердия пот.

Паломничество в Италии — это не касается усердно молящихся простых людей — путешествуя по святым местам, они вкладывают в это всю душу и всю веру, — так вот, паломничество на Апеннинах — это языческое действо, больше смахивающее на то, что происходит в луна-парках, где все, даже связанное с религиозными убеждениями, подгоняется под карнавальное клише, и потому во время таких религиозных шествий даже значение предусмотренного католиче-

ским ритуалом появления фигуры или образа Христа сводится к нулю буйным проявлением ненужных и неуместных чувств, разнузданного ликования, граничащего с профанацией, — все это подчас превращает любое паломничество в праздник богохульный и святотатственный, похожий скорее не на религиозное действо, а на фестиваль в Сан-Ремо.

В этом смысле «массовые сцены итальянской религиозности», показанные в фильме «Ночи Кабирии», поставлены очень точно и реалистично, хотя, может быть, именно мне не стоило бы об этом говорить. Однако должна сказать, что отношение русских зрителей к этому фильму и к Кабирии, роль которой я играла, граничало с изумлением, порождаемым большим открытием. У меня создалось впечатление, что русские зрители были потрясены той верой в человека, которой были проникнуты все кадры фильма, хотя этим человеком была маленькая римская проститутка. Вера в человека, любовь и сострадание к каждому, в каких бы ужасных условиях он ни находился, желание помочь, вытащить из грязи всякого падшего — таковы были гуманистические нотки, которые «раскрыли» русские зрители в Кабирии, и это было так созвучно их душам, так для них характерно, что заставило их «признать» и полюбить картину. Об этом мне говорили не только самые простые люди, но и официальные представители, например, один известный журналист, который стал мужем дочери Сталина и был тогда, если не ошибаюсь, главным редактором газеты «Правда».

Все русские, как правило,

стремятся к любви, к сердечной привязанности и понимают эти чувства, очень хорошо разбираются в них. Воспринимаются их лица, голоса — они постоянно всплывают в памяти — и та первоизданная, простая любовь, которую они единственно признают, восхваляют любовь к человеку как таковому. Невероятна верность русских в любви и дружбе — и никакой народ, на мой взгляд, не может с ними сравниться (к слову сказать, я думаю, что и у дружбы, как и у любви, могут быть внешние, «предметные» проявления). Появление, рождение дружбы у русских — это процесс невероятный, уникальный, свойственный только этому народу. Достаточно одного твоего взгляда, жеста, улыбки, которая их чем-то затронет, и ты уже приобретаешь верных друзей.

Пройдут годы, много, даже лет двадцать (столько прошло со дня моего первого путешествия в Россию), а они все помнят о тебе. Возвращаясь в Россию, я встречала людей, которые говорили, что вот, дескать, столько-то лет назад встречались со мной, разговаривали несколько минут и считают, что между нами родились дружеские отношения, толпились вокруг, как старые друзья, кто-то целовал мне руки. Я их обнимала, всех, одного за другим, целовала в щеки. Помню, один юноша, которого я вот так поцеловала, произнес фразу, очень меня растрогавшую, — он сказал, что теперь не будет умываться целый месяц...

Перевод с итальянского
Л. ФИЛАТОВОЙ.

● Рисунок Ф. Феллини к фильму «Ночи Кабирии».

